

ББК 84Р7-4
Ц27

Дизайн обложки
А. Логвина

Составление и предисловие
Станислава Айдиняна

Цветаева А.И.
Ц27 Неисчерпаемое. — М.: Отечество, 1992. — 320 с., ил.

«Неисчерпаемое» — новая книга-эссе русской писательницы А.И. Цветаевой. Она открывает нам мир талантливого сердца, широкой души, христианской любви и добра. Ее произведения написаны «языком сердца».

А.И. Цветаева в импрессионистской манере, с присущими ей блеском и наблюдательностью рассказывает о людях, среди которых жили сестры Марина и Анастасия Цветасвы (П. Антокольский, Т. Чурилин, И. Рукавишников, С. Парнок, М. Волошин, П. Романов и др.). С некоторыми, может быть, читатели познакомятся впервые.

В книгу вошел рассказ «Маринин дом», где Анастасия Ивановна вспоминает о счастливых годах жизни сестры, о которых написано мало. Почти неизвестны мистические рассказы. Книга интересна и примечаниями, составленными при участии автора, иллюстрирована фотографиями из ее архива.

Ц 4702010201-007 Без объявл.
Д88(03)-92
ISBN 5-7072-0008-8

© Издательство
«Отечество», 1992

ПРЕДИСЛОВИЕ

Судьба Анастасии Ивановны Цветаевой от самых истоков чудесна. Младшая Цветаева выросла рядом со старшей — Мариной. Детство сестер насыщено — мягкой провинциальностью летней Тарусы, городка на Оке, и таинственностью, уютом старой Москвы.

От матери, Марии Александровны, сестры восприняли мечтательность, гордую волю — «стать». От отца, Ивана Владимировича, — огромную трудоспособность, упорство, демократичность и начала религиозности. Последнее качество особенно развилось с годами у младшей Цветаевой.

Духовное начало — определяющая черта биографий и творчества обеих сестер.

У Марины Цветаевой струи духовного «потока» омыают душу индивидуальности, преобразуются в художественный вымысел.

У Анастасии Ивановны сила индивидуальности устремлена в жизнь «по истине»; корни ее творчества прочно вросли в реальность. Она считает, что реальность богаче вымысла, и произведениями своими подтверждает столь парадоксальное мнение. Ведь от известнейших ее «Воспоминаний», от «Сказа о звонаре московском», от романа «Атор» — не оторвешься, хотя все эти произведения автобиографические.

В мемуарном жанре многие привыкли замечать больше хроникальной документальности, чем художественности. Разгадка феномена противоположного раскрывается в собственных Анастасии Ивановны словах, как-то оброненных в беседе. Она сказала: «Я пишу во весь душевный мах». И истинно — огромная, без преувеличения, эмоциональность Цветаевых, глубокий интеллект, европейская образованность, знание

мировой культуры вкупе с наблюдательностью и духовными качествами дают человеческую и писательскую талантливость.

Обе сестры — личности большой воли, оттого в них — резкая энергичность жеста, резкая энергичность пера, у каждой своеобразного, заостренного в свою тему.

Мне всегда было интересно, как воспринимают Анастасию Ивановну люди, знавшие Марину Ивановну. В этой связи вспоминается встреча Анастасии Ивановны с вернувшейся из эмиграции Ириной Одоевцевой, которая, хотя и не была близкой подругой М. Цветаевой, тем не менее встречалась с ней в Париже, хорошо ее помнила.

Встреча интересна и тем, что обе писательницы перешигнули 90-летний возраст, обе сохранили при этом полную ясность ума, обе продолжали выпускать книги.

В Переделкине, в доме творчества, познакомившись с Одоевцевой, Анастасия Ивановна, со свойственным ей блеском, рассказала об одном эпизоде детства. Вспомнила, как Яков Горбов, муж Одоевцевой, в незапамятно-далекое время учился в одном с сестрами танцклассе и остался в памяти как “мальчик-сфинкс”, по взрослому серьезный и тем загадочный...

Ирина Владимировна была покорена яркостью, интенсивностью рассказа и самой личностью Анастасии Ивановны, расстроена памятью о неизвестных ей ранних годах близкого человека. В следующий мой приезд в Переделкино я зашел к Одоевцевой побеседовать, она сказала: — Я думала, ну — сестра Марины... А она — замечательная, замечательная! (При этом присутствовала приятельница Ирины Владимировны, поэтесса Дина Терещенко.) Одоевцева принадлежала к изысканному литературному кругу, близко знала Н. Гумилева, Д. Мережковского, К. Бальмонта, И. Бунина, Г. Иванова, Жоржа Батая... Ей было с кем сравнивать.

Что до устного рассказа о Я. Горбове, тоже ставшем, уже в эмиграции, писателем, то Анастасия Ивановна в тот же вечер написала о нем очерк и посвятила Одоевцевой. Та обещала ввести этот очерк в новое издание своей книги “На берегах Сены” и сдержала слово...

О творчестве Марины Цветаевой написаны тома. Об Анастасии Ивановне тоже много писали в периодике, но всех статей, томов стоит письмо к ней ее друга Бориса Пастернака в ответ на посланную ему машинопись первых глав “Воспоминаний”. Вот фрагмент из этого

письма, не так давно опубликованного: “Только что получил и прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я вовсе не ждал дальше такой сжатости и силы”.

“Воспоминания”, о которых столь восторженно отзывался Пастернак, в сущности возродили имя А. И. Цветаевой в литературе. Первое же издание “Воспоминаний” (предваренное небольшим фрагментом, появившимся в “Новом мире”) вышло в “Советском писателе” в 1971 году. Оно сразу окружило Анастасию Ивановну ореолом известности, не стучавшейся в ее двери с 1916 года, когда к ней приходили читательницы второй ее книги — “Дым, дым, дым”, приходили за советом “Как жить?” Такова уж, традиционно, роль русского писателя — быть в глазах публики учителем жизни, если не пророком...

Анастасия Ивановна не пророк, хотя в той же книге 1916 года есть пророческие строки: “Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим — слов нет — горем моей жизни... Больше смерти всех, всех, кого я люблю”.*

При переиздании “Дыма” (в сборнике “Только час”, М., “Современник”, 1988) она сделала к сбывшемуся пророчеству примечание: “Написано за 25-27 лет до смерти Марины. Точно я знала, что она умрет раньше меня”.

Что ж, Memento mori! помни о смерти, о смерти ближних и еще более — о неизбежно грядущей — своей...

Тогда же, в 1988 году, у “Дыма...” появилось окончательное завершение — послесловие, в нем — мудрый, будто с орлиного полета — духовный анализ существа человеческой жизни и ее психологической эволюции:

“Одиночество детства! Оглушительная новизна окружающего! Не с чем сравнить — и потому невозможность оценки... Ежесекундное восприятие неизведанного — и у кого просить помощи, когда ты не можешь выразить своих затруднений от неумения их осознать. Человек

* Это сбывшееся пророчество Анастасия Ивановна повторит и в “Зимнем старческом Коктебеле” и в очерке “О Марине, сестре моей”.

рождается в лес без путей и без признаков познаваемости. Бессловесный, он задыхается от невыразимости с ним случившегося.

С первых дней жизни он оказывается заблудившимся в лесу неназываемых чувств. С утра и до ночи захлебывается ежеминутным восприятием ребенок, кроме крика — нет у него средств самозащиты, ибо мать, такая большая, так всем овладевшая, не имеет путей к его отчаянной молчаливости — первых дней, недель, месяцев. А когда приходят слова — это слова не те, они мало чему помогают, они не выводят из леса, они еще усложняют общение, потому что выражают конкретное и случайное, а душа полна непонятого и огромного, и ребенок только и делает, что отгребает мешающее, не соглашается на предлагаемое упрощение, борется с убожеством названного, “слыша” мир, а не вещь плюс вещь...

И за годом идет год, идут годы. Маленький человек научается привыкать к своему одиночеству, примиряется с тем, что не понят, устает от плача и крика и находит уют и веселье в трудном своем дне, отвыкает от требовательности, научается жить как все. И на этом пути привыкания перед ним в тумане брезжится отрочество, за ним тот рассвет, который называется — молодость.

Трагическая пора — молодость!

Весь мир звучит ей таким многоголосьем, с которым не сравнится знаменитейший в мире хор. И все чувства ее отзываются на разноголосые зовы, отдавая все силы свои — неизвестному, только на силу зова!

Молодость отдана чувствам. И они мучительны. Ибо им не сопутствует понимание. Понимание приходит позднее, и когда оно настает — начинается освобождение от заколдованности чувствования; когда пробуждается анализ вокруг сущего, а затем благотельность самоанализа — это приблизилась блаженная пора зрелости, овладевания миром! Пора, когда ты не слушаешь призывы того, что зовется жизнью, не обольщаешься, не ошибаешься, когда тебе принадлежит все, — оттого, что тебе ничего не нужно, когда ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым...” (с. 582-583).

Равный по “сжатости и силе” текст, действительно, в литературе нашей при всем ее богатстве встретить трудно.

Так все же откуда основы духовного потенциала, который привлека-

ет к книгам Цветаевых, почему чтение, впадение в их ритм — “сплошной запой”? Почему — не оторвешься, почему “закружит”, увлечет в серебряную эпоху, по которой сегодня тоскует Россия?

Дело, по-моему, в самом, с детства воспринятом, отношении к жизни. Из поколения в поколение передавалась способность человека сострадать, молиться, то есть признавать над собой духовное главенство Вселенского Сострадательного Верховного Существа — Бога, у него просить защиты, перед ним преклонять колени. Даже когда уходила религиозность, вера в Высшую Сущность над миром подсознательно оставалась.

Вот, например, эпизод из романа Анастасии Ивановны “Атог”, эпизод опять-таки автобиографический, когда героиня идет на коленях к церкви — вымалывает своему первому мужу (к тому времени они уже расстались!) выздоровление, вымалывает ему жизнь. И это во время ее неверия, в годы отступления от христианства, к которому она в свои 27 лет убежденно и окончательно вернулась... Только вера помогла перенести страшные провалы — в аресты, в тюрьмы, в лагерь, в ссылку. От дня второго ареста в 1937-м через Дальний Восток и Сибирь — к реабилитации в 1959 году! Это, фактически, еще одна жизнь. Жизнь — испытание, жизнь — подвиг, жизнь — искупление.

Годы лишений, годы несвободы, нужды — трагические “доминант-аккорды” в судьбе писательницы, и, пока Симфония длилась, звучал суровый, безжалостный мотив...

Сколько ее произведений-рукописей пропало в 1937-м! Анастасия Ивановна мне рассказывала о большом числе сказок, новелл, которые она начала писать еще в отрочестве; о том, что было несколько совсем готовых книг. Романы, повести. Документальная проза. Были и новаторские вещи — с элементом фантастики, как незаконченный роман “Музей”. Пухлая тетрадь с массой исписанных, вложенных в нее, листков, канула в неизвестность, как и весь ценнейший творческий архив.

Судьбу архива можно представить по ответу, который дал чиновник МГБ Анастасии Ивановне, когда она после реабилитации пыталась отыскать документальную книгу о М. Горьком, тоже “арестованную” бесследно. Чиновник сказал: — Книга о Горьком? А зачем она?! Ведь Леонов о нем уже все написал...

Несмотря на длившиеся “тяжелолетия”, Марина Цветаева на Западе

печаталась. Выходили ее стихи, проза. В Советской России Анастасии Цветаевой, идеалисту, человеку верующему, не скрывающему своих убеждений, печататься было нельзя. Да и темы она выбирала "неактуальные". Например, написала книгу (по типу книги А. Федорченко — народ о войне), в которой собрала высказывания народа о голоде. Назвала "Голодная эпопея". В предисловии к "Эпопее" были такие слова: "Сегодня, когда хлеб победил бесхлебье, мы можем вспомнить, что народ говорил в годы трудностей". Закончила книгу и в 1927 году повезла к Горькому в Сорренто. — Опоздали Вы с этой книгой, — сказал Горький. Видимо, знал, что разрабатывается уже система хлебных карточек, что надвигается новый голод?... И точно, "Эпопея" была сначала принята в "Красную новь", в журнале даже выдали аванс, на который Анастасия Ивановна с сыном поехала отдохнуть на юг.

"Я выехала в Сочи с Андреем, — рассказывала она, — потом Борис Пастернак прислал мне денег на обратный путь — из собственного кармана, сообщил, что моя "Голодная эпопея" в "Красной Нови" не пойдет..."

"Красная Новь" предполагала печатать и другую книгу А.И. Цветаевой, роман "SOS, или Созвездие Скорпиона". (Интересно, что прототипом главного героя был реальный человек, астроном Михаил Евгеньевич Набоков, двоюродный брат Владимира Набокова-Сирина, известного писателя.) Роман было решено печатать, но при условии, что автор должна "выпрямить" судьбы героев под "оптимистическую" линию.

По этому поводу сегодня Анастасия Ивановна говорит: — "Это то же самое, что потребовать у Гамсуна сделать благополучным конец его "Виктории" или "Пана", чтобы он снял трагизм! Нелепость!" Анастасия Ивановна грустно пожала руку главному редактору, Николаю Ивановичу Замошкину, который ее столь любезно принимал, восхищался романом, уговаривал... И больше не пришла в редакцию. Такие компромиссы — не для Цветаевых! Ценой молчания доставалась тогда писателям творческая свобода. А потом и молчание сочли опасным — это когда Анастасия Ивановна годы подряд отказывалась от "творческих встреч", которые для члена Союза писателей считались обязательными. Долго за нее заступался Пастернак, говорил: — Если ее исключите, то и меня исключайте!... Так, ко времени своего ареста, она

тихо выбыла из Союза, в который по рекомендации друзей — Н. Бердяева и М. Гершензона была принята в 1921 году...

Были тогда, в 20-30-х годах, некоторые "подробности", которые нам теперь трудно представить. Например, к Анастасии Ивановне заходил один писатель. Приходил редко, выпить чаю. Сидел и предупреждал: — Вы должны понимать, что когда будет решаться социальный состав жителей столицы, Вы, как идеалист, не будете в Москве жить. Предупреждал! Считал естественным, что если человек идеологически "не подходит", то должен куда-нибудь исчезнуть. Такие были времена и нравы.

Высланы из Москвы самые близкие друзья — те, кто выделялся, "смел свое суждение иметь".

Политикой ни Анастасия Ивановна, ни люди ее круга категорически не занимались. Они признавали только духовную работу. Например, Б.М. Зубакин, ближайший друг Анастасии Ивановны, скульптор, художник, поэт, читал в своем — очень узком — кругу лекции по "этическому герметизму", тонко-метафизические, "отвлеченные". Их записывала Анастасия Ивановна семь лет. Этот ее друг, личность яркости и качеств необычайных, знаток искусств и наук, религий, обрядов, был арестован, сослан в Архангельск, позднее в лагере расстрелян...

Гибли люди, гибли рукописи, гибли книги.

Уже вернувшись после, как она это называет, "приключений", Анастасия Ивановна стала восстанавливать некоторые свои труды по памяти. Расширила и включила в "Воспоминания" главу о Горьком, взяв ее из единственной своей довоенной публикации в "Новом мире" (1930); восстановила полностью и по-новому "Сказ о звонаре московском", повесть о звонаре-яснослышащем, Котике Сараджеве. Позже написано близкое к первым дневниковым книгам повествование "Моя Сибирь". И если первые книги — богоборческие, отмечены обаянием юной, но ищущей философской мысли, то в "Моей Сибири" — сама простота, тонкое чувство Природы, человечность, сердечная теплота... И — апофеозом простоты в творчестве младшей Цветаевой повесть "Старость и молодость" в одной книге с "Моей Сибирью" (1988). Кроме того, она выправила переданный на папиросных тонких листочках из лагеря на волю роман "Атог". Над ним была долгая работа. И все это, когда ей за 70, за 80, за 90!

Собственно, к 70-м годам века А.И. Цветаева вошла полноправно (а не как сестра классика) в отечественную литературу и с тех пор остается мастером автобиографической прозы. За последнее двадцатилетие ею опубликовано очерков, рассказов, рецензий, книг больше, чем за все предыдущее время.

Книга, которая лежит перед Вами, возникла из рассыпанных по газетам и журналам россыпей памяти А. И. Цветаевой.

Очерк первый, "Детское Рождество", мог бы полностью войти в книгу "Воспоминаний", он составлен из фрагментов, которые по условиям времени в печать не могли попасть. Когда я читаю "Детское рождество", мне вспоминаются слова одного из величайших французских писателей XX столетия — Алена Фурнье, сказанные о главном герое его знаменитого в 40-х годах романа "Большой Мольн": "Герой моей книги — человек, у которого было слишком хорошее детство. Всю жизнь он несет его с собой".

То же можно сказать о "лирических героинях" сестер Цветаевых, которым с детства был свойственен ностальгически-грустный взгляд в прошлое, как и у Мольна, и так же, как у него, детство их претворялось, обращалось в почти фантастическую сказочность — от полноты чувств, от их пламенности. У Анастасии Ивановны, конечно, сказочность более реальная, у Марины — больше вымысла.

Анастасия Ивановна — "прозаический поэт" детства. Мало кто, как она, может и умеет войти в психологию ребенка, его глазами взглянуть на мир и тут же вдруг отстраниться, посмотреть на давние образы и чувства со стороны...

Я не случайно упомянул о Фурнье, французском писателе. Именно во Франции существует огромная "воспоминательная" литература о детстве, целая вереница имен — от Стендаля и Пруста до Марселя Паньоля и Робэра Андре.

Во Франции же писался юношеский "Дневник" Марии Башкирцевой, который некогда вдохновлял сестер Цветаевых. "Блестящей памяти Марии Башкирцевой" посвящен первый сборник стихов М. Цветаевой.

И еще — "Детское Рождество" заключается описанием образа Христа, иконы, которая потом столь явственно вспоминалась Анастасии Ивановне, что судьба послала ей такую же, точь в точь как в детстве...

Об образе том подробнее в книге ее "О чудесах и чудесном" (1991) — "Благословляющая рука, волосы по плечам, в тебя глядящие синие глаза! Алая и голубая одежда, какой нигде не видишь." Умерла старушка, от нее остались иконы, которые многие тогда боялись хранить у себя, Анастасия Ивановна не побоялась принять иконы, и ей неожиданно принесли то самое, столь дорогое ей с детства, священное изображение.

За "Детским Рождеством" следом — "История моей двойки". Это грациозная новелла, овеянная зазором ранней юности. В ней — озорной случай: гимназистка не знает алгебры и свое отчаяние претворяет в выпад — не против учителя, а против собственного незнания, против собственного бессилия. Бессилия Цветаевы не выносят. Это не их "стиль". Их "девиз", напротив, сила во всем, до конца.

Посвящение ее учителю математики Голубеву Анастасия Ивановна помещает своевольно в конце текста. В посвящениях — неумолима, она "вплавляет" их в текст, чтобы редакторы, которые не любят посвящений, не могли без ее согласия снять.

"Аделаида и Евгения Герцык" — мемуарный очерк о двух сестрах, больше о старшей, поэтессе Аделаиде Казимировне Герцык-Жуковской (1874-1925) и о младшей, Евгении Казимировне (1878-1944).

Крымские жительницы, Герцык были, как и Цветаевы, близкими друзьями М. Волошина. Трудно перечислить, сколько раз их, сестер, имена упомянуты у М. Цветаевой. Скажем только, что у Анастасии Ивановны облики эти даны в несколько ином, более серьезном ключе, чем ностальгически теплые, чуть ироничные образы тех же сестер у Марины Ивановны в ее "Живое о живом".

"Чтение стихов Софии Парнок" тоже, как и "Детское рождество", переработанный фрагмент, не введенный в "Воспоминания". София Парнок (1885-1933) — заметное имя на "серебряном" небосводе. О ней в Волошенских "Лицах творчества" сказано: "Как бы глубоко сознательный, успокоенный в себе и неожиданно переходящий от шепота до крика страсти голос, о котором хочется сказать словами Т. Готье: "Мне нравится это слияние"."

Софии Парнок М. Цветаева посвятила цикл увлеченных стихов "Подруга".

Дальше — Тихон Чурилин. Марина Цветаева в очерке "Наталья Гон-

чарова" говорит о нем как о гениальном поэте, о его единственности она пишет и Б. Л. Пастернаку (14 февраля 1923 года).

К сожалению, в наше время, когда "воскресают" имена, Чурилин все еще в забвении, и очерк Анастасии Ивановны восполняет несправедливый литературно-исторический пробел. Ведь еще Н. Гумилев в своих "Письмах о поэзии" сказал о Чурилине: "Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны".

Удивительно, что в расширительном плане статьи "Голоса поэтов", кроме сестер Герцык, С. Парнок и М. Цветаевой Максимилиан Волошин отметил и Т. Чурилина, и М. Шагинян, о которой речь впереди. Так что можно поддаться соблазну сказать, что в какой-то мере А. И. Цветаева частично выполнила желание ее друга Макса: написала о тех, о ком он не успел...

Далее — воспоминания о П. Антокольском, близком друге М. Цветаевой. В облике, ею воссозданном, звучит поэтическое и жизненное горение, мощь, с которой Антокольский читал свои и Маринины стихи... Скажем еще, что П. Антокольский написал большую, исключительно положительную рецензию о "Воспоминаниях" А. И. Цветаевой, что вышла в "Новом мире" (1972, №6).

На "Воспоминаниях о писателе И. С. Рукавишникове" (1887-1930) "волошинское" наваждение продолжается, оно вновь кладет светлую тень на страницу — ведь о Рукавишникове тоже упоминает Волошин... Анастасия Ивановна повернута к Рукавишникову ее излюбленной темой — его книгой о детстве, а впоследствии — дружбой, которая могла стать чем-то большим, если бы не свободолюбие писательницы, заставляющее ее и в девяносто семь лет жить одной, самостоятельно вести хозяйство.

В очерке о И. Рукавишникове мелькают, как бы невзначай, трагические подробности — например, о том, что в годы нужды не в силах обеспечить сыну полноценное питание она с одиннадцати до четырнадцати лет (с 1923 по 1926 годы) определила его в приют, где, как она мне рассказывала, "детей недурно кормили, жили они у Девичьего поля, где был большой сад". Раз в неделю возила в приют усиленное питание, зарабатывала тем, что писала по ночам специальным, "библиотечным" почерком карточки для библиотеки музея, основанного ее отцом. Анастасия Ивановна говорит, что вовремя взяла сына из приюта, пока

он не попал к "переросткам" и не испытал дурных влияний. Как не вспомнить в этой связи судьбу дочерей М. Цветаевой — Ариадны и Ирины. Обе они содержались в самом начале двадцатых годов в приюте. Ариадну мать забрала и из последних сил выкормила, Ирина погибла. У Анастасии Ивановны в 1919 году в Крыму умер от дизентерии второй сын Алеша от ее второго брака. Но в 1923-1926 годах уже, конечно, не было столь беспощадного голода.

В бывшем имении писателя А. И. Эртеля Анастасия Ивановна познакомилась с Пантелеймоном Романовым, о котором она пишет как о писателе "милостью Божьей". Но в его прозе она находит то, что Н. Гумилев находил в стихах Рукавишникова — то есть талантливость, индивидуальность при недостатке вкуса.

Анастасия Ивановна (сенсационная для истории литературы подробность!) становится добровольным редактором П. Романова. Его фундаментальный роман "Русь" был ими совместно отредактирован заново и обрел небывалую дотоле смысловую и стилистическую цельность.

Очерки о Рукавишникове и Романове написаны один за другим. О них были созданы, правда, очень краткие, зарисовки в главке "Несколько слов о друзьях-писателях", опубликованной в журнале "Даугава" (1986, №11). В "Даугаве" в 1984 году (№9), то есть несколько ранее, вышли еще два ее очерка, посвященные Марии Волошиной, второй жене М. А. Волошина, и Мариэтте Шагинян.

М. Волошина до самых последних лет жизни была близким другом А. Цветаевой. Их соединяли воспоминания о юности, о Максе и религиозность. Им была присуща удивительная черта, неподвластная старости, — способность очаровываться, восхищаться тем немногим, что давала жизнь. Уже в шестидесятые годы А. И. Цветаева ездила к подруге в Коктебель. Сохранилась фотография, сделанная в день восьмидесятипятилетия Марии Степановны. На фотографии все "костюмированы", а Анастасия Ивановна снята в смешной "маске" — в темных очках и ... с накладной бородой из морских водорослей.

Неугасимость юмора, молодость сердца, то, что так восхищало Анастасию Ивановну в Антокольском, жила в них — в М. Волошиной и старых подругах ее круга.

Привожу здесь одно из сохранившихся писем М. С. Волошиной к А. И. Цветаевой от 22 июня 1972 года. Привожу потому, что оно звучит в

унисон очерку о Марусе Волошиной, которая, кроме всего прочего, фигурирует эпизодически и в романе "Атог". Это она, Мария, в главе "Коктебель" "становится на колени перед Поэтом и кладет истовый земной поклон" ("Атог", М., Современник; 1991, с.274). Итак, письмо:

"Милая Асенька, письмо твое грустное расстроило и тронуло меня. Конечно, мы очень одиноки, конечно, на каждой из нас бремя и ответственности, и забот, каждый знает про себя. И что ответственнее и что больше, никто не может судить. Всем тяжела своя ноша. Я не ропщу, но часто изнемогаю, потому что прежде всего слепну, немощна и завишу почти целиком от людей. А это и унижает, и раздражает, и делает подчас очень тяжким существование.

Конечно, приезжай, только дай телеграмму, дня за два, что приедешь. Конечно, всегда для тебя найдется место. Приезжай с внучкой, но больше никого не привози (...) Цѣлую тебя и жду. Маруся."

Письмо это нигде и никогда раньше не публиковалось. Оно продиктовано кому-то из друзей. Но последняя фраза и подпись — рукой Марии Степановны, чем и объясняется Ъ в "целую", ибо писала она, пользуясь старой, дореволюционной орфографией.

Шагинян М.С. — фигура противоречивая. С одной стороны, певец советского образа жизни, писатель "государственного" направления. С другой стороны... как ни старалась она быть при всей "злобе дня", как ни старалась соответствовать ведущей, "прямой" партийной линии и написать все, что можно и даже нельзя о Вл. Ленине, все же не было в ней того "массового", что делало неотличимыми друг от друга советских писателей. В ней чувствовалась упрямая, уверенная в себе индивидуальность. Кроме того, М.Шагинян отличалась настоящей образованностью — читала западно-европейскую литературу в подлинниках! И тем была, несомненно, сродни Анастасии Ивановне, знавшей свободно три европейских языка.

Анастасия Ивановна хвалила при мне ее "Зарубежные письма". Шагинян несколько раз принимала у себя Анастасию Ивановну, приводившую к ней литературную поэтическую молодежь. В молодости, в 1911 году, Шагинян написала о первой книге М.Цветаевой, о "Вечернем альбоме", и потом, через годы, М.Цветаева вспоминала о той старой рецензии в письме Б.Пастернаку, как о дорогой ей.

В Шагинян и в младшей Цветаевой — их несогбенность, живость в преклонных летах, но... Есть и нечто литературно-общее. При разности тем и убеждений общее в них — воля. Во-вторых, резкость, твердость писательской манеры, максимальная утвержденность в написанном.

Среди очерков и рассказов А. И. Цветаевой немало о Коктебеле. В этом гористом, морском, ветровом уголке Северного Крыма происходит действие "Маруси Волошиной", "Чтения стихов Софьи Парнок", чрезвычайно близко географически стоят к Коктебелю и новеллы "Сон наяву, а может быть, явь во сне" и "Ночи безумные". Но основной в ряду — большой очерк, почти повесть, скромное название коей — "Зимний старческий Коктебель". Правда, есть подзаголовок — "История пяти дней, дневниковые записи 10-15 января 1988 года". По правде, Анастасия Ивановна в строгом смысле дневник давно уже не ведет. Дневник сосредоточен на своем "я", и Анастасия Ивановна, став на путь веры, на путь христианства, ушла от подобной сосредоточенности.

"Зимний старческий Коктебель" — это и очерк событий современных — 1988 года и "переизаг" в далекую юность — в 1911 год и оттуда — в 60-е, которые в Коктебеле памятливы для Анастасии Ивановны тем, что она тогда испытала свое "последнее земное очарование" — большое чувство к А. Шадрину.

Я же хорошо помню 1985 год — за три года до Коктебеля зимнего и "старческого". То был осенний и солнечный Коктебель. Туда я поехал по просьбе и приглашению Анастасии Ивановны — поработать над ее рукописями.

Не забуду, как с Анастасией Ивановной пришли мы в Дом-музей, как прошли по комнатам, вошли в мастерскую, поднялись по лестнице выше, к балкону, к которому нельзя было выйти: дверь заперта. Анастасия Ивановна сказала: — Откройте. Ей принялись объяснять, что не положено, что опечатано, что нет ключа. Но она так твердо, таким тоном повторила: — Откройте! — что откуда-то появился ключ, сняты были печати. Анастасия Ивановна с несколькими окружавшими ее людьми — родственниками по первому мужу — матерью и сыном Трухачевыми и давно знакомым ей экскурсоводом музея Борисом, — все мы вышли на балкон, залитый солнцем, откуда крутая

деревянная лестница вела еще выше, на плоскую крышу башни, на смотровую площадку.

Анастасия Ивановна обернулась ко мне: — Станислав! Семьдесят пять лет назад я сюда поднималась без трости и сейчас без нее поднимусь. Протягивает мне трость, я беру. И — взлет энергии — ступенями вверх, она уже любитесь “падающим в море” горным Карадагом, одна из скал которого почти повторяет профиль ее друга, Макса Волошина. А с неба, с гребней скалистых гор ярко струятся солнечные лучи...

Тогда Анастасия Ивановна рассказала нам, как при Максе было солнечное затмение и все поднялись на башню. Маленький Андрей, сын Анастасии Ивановны, тоже хотел идти, но нянька не пускала, считала, что такое видеть — грешно. Анастасия Ивановна приказала няньке ребенка пустить, и, взобравшись на балкон, он детским голоском повторял за взрослыми: “Какая класота! Какая класота!” Красота же состояла в том, что в пол-неба раскинулся день, с солнцем и облаками, в другой половине неба чернела ночь с луною и звездами...

В “Зимнем старческом Коктебеле” особенно, на мой взгляд, замечательна молитва спутницы: “Господи! Ты, который все можешь, Чье Сердце (...) бьется чудесами (побеждая законы природы), Ты, который из грешника можешь сделать праведника, Биением Твоего Сердца — неизбежными, неисчислимыми чудесами, самую суть всего составляющими ... Сделай со мной маленькое чудо — чтобы не искушалась я искушением, ничего не хотела бы для себя, чтобы я легко делала то, что я трудно делаю. Чтобы я боролась себя! Я ведь знаю — не это ли в юности моей толковал Волошин, — что мы получаем, только когда отдаем, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая — в ответ!

Научи меня побеждать себя...”

Не желать ничего для себя, побеждать свои желания — один из важнейших “порогов” христианства, за которым — осознание Вечности.

Сколько рукой Анастасии Ивановны записано старинных молитв, заветных старцами и святыми!... Молитва — тоже путь к преодолению, к чистой, бескорыстной, возвышенной любви к земному и небесному. Об этой сокровенности молится Цветаева. Основной лейтмотив все тот же, религиозный: “Наша жизнь от земли отлетает, на землю падает!... Неутомимость любви — здесь. Выше, выше!

Выше неутомленности — неутомимость! Ибо выше всего — Образ и Подобие Божие, данное нам”.

Без этого взлета в духовность не представил бы прозы Цветаевой.

Еще нужно сказать о Коктебеле старческом и зимнем, что мне приходилось не раз встречать у Анастасии Ивановны лирического Спутника. Вместе с ним Анастасия Ивановна там, в Киммерии, читала стихи, к нему в Москве она обращена полным доверием как к врачу, спасителю от любой подкраившейся немочи. Юрий Ильич Гурфинкель кардиолог, заведующий отделением реанимации в одной из столичных клиник. Он не стар, но в нем есть тональность настоящей старой врачебной интеллигенции. Если Анастасия Ивановна — писатель милостью Божьей, то Юрий Ильич Гурфинкель милостью Божьей — врач.

В “Зимнем старческом...” Анастасия Ивановна тепло, тонко описала их “вдвоем” на фоне Коктебеля — это лирика “странничества” ...

“Маринин Дом” — не просто описание жилища, это целое культурно-историческое и биографическое эссе о людях, событиях, временах. Дома в нем — живые, как люди — найденные, утерянные. В них — счастье и горе, встречи и расставания.

“Маринин Дом” — дом шесть в Борисоглебском переулке, становящийся ныне музеем поэта, на нем установлена мемориальная доска. Мне же помнится время, когда там жила Н. И. Катаева-Лыткина. Уютом антикварных вещей и вещей, картин, икон была полна ее квартира на первом этаже полуразрушенного и протекающего дома. Горящие все четыре конфорки газовой плиты “догревали” жилище единственной, отказавшейся выехать, жилицы — Хранительницы угасающего, тогда казалось, навеки, очага культуры. Дом представлял собою полуразрушенную фантасмагорию — лабиринт, где бы заблудился Тезей и где давно оборвалась нить Ариадны ...

В августе 1991 года Анастасия Ивановна выступала при открытии мемориальной доски, установленной на доме сестры, и говорила о том, что было здесь пережито.

“Сравнение двух домов” — тематическое продолжение “Маринино Дома”. Краткая фрагментарная “главка” интересна прежде всего цветаеведом, которым ценна каждая, даже малая, подробность жизни семьи Цветаевых.

“Непонятная история о венецианском дожде и художнике Иване Булатове” описывает нечто необычайное: художник, потеряв в болезни

сознание, “вспомнил” тосканское наречие, которого никогда не знал. А будучи в Венеции, узнал себя явственно на портрете, где он — в костюме дожа. Более того, он “помнил” расположение зал во дворце, в котором не бывал.

Анастасия Ивановна точно придерживается фактов, и перед нами разворачивается теософическое приключение — прыжок из “плоскости” XX века в иную реинкарнацию, иное воплощение. Но Анастасия Ивановна, следуя православию, не принимает “догмата” о реинкарнации (хотя до одного из ранних вселенских соборов его признавала христианская церковь...). Но даже Рудольф Штейнер, основатель антропософии, утверждающий, что многократные проживания — это реальность, в лекциях своих предупреждает, что с вопросом о реинкарнации много сложностей, и люди, впадая в свои “прошлые” воплощения, могут впасть и в иллюзии...

В очерке “О Марине, сестре моей” — тоже чудесный эпизод: любимое М. Цветаевой растение (серолист из отряда бегоний) дало знать Анастасии Ивановне о смерти сестры: оно всколыхнулось, зашумело листов при безветрии в лагерном бараке и на глазах изумленных женщин плавно успокоилось.

Быть может, когда М. Цветаева, обладавшая талантливой душой, очень астральной, очень пылкой, вышла за пределы физического тела, она через “родственную” ей живую субстанцию растения дала знать о себе. Она уже была “развоплощенной” (одно из любимых слов Анастасии Ивановны), бестелесной.

Не раз рассказывали мне, что умерший человек давал знать о себе в момент своей смерти — будто голубь забился в окно и пришло внелогически четкое осознание: “этого человека не стало”. Есть в жизни место чуду.

Место чуду нашлось и в рассказе Анастасии Ивановны “Родные сени”. Описан дивный всплеск интуиции: автору, героине, рассказчице — из воздуха, совершенно невероятным образом спускается забытое, или, скорее, ранее неизвестное имя. Заметим, Анастасия Ивановна находилась в крайней степени усталости, ее сознание было на пороге меж сном и явью. И сначала ее “вынесло” в далекое прошлое, и произошло, как в сказке, узнавание. Оказалось, ей знаком дом этот, знакома комната. Здесь некогда жила сестра Марина. Но самое важное то, что Анастасия Ивановна и женщина, к которой она приехала в тот самый “забы-

тый” дом сообщить о смерти друга, вдруг обе в один момент ощутили присутствие умершего. Он был рядом, это — непрерываемо — ясно. Совершилась победа сознания над материей, Духа над плотью. И присутствие человека, давшего о себе знать из иного мира, придало женщинам “чувство огромной полноты, тепла и покоя, держало ум и сердце в неиспытанном еще слиянии”. Слияние ума и сердца — путь к Богу Единому, гармония, воспетая в старинных легендах розенкрейцеров.

“Две встречи” — рассказ о разном отношении людей друг к другу, о разной градации совести, о полярно разнородных пониманиях жизни. Книжечку, которую описывает Анастасия Ивановна, я держал в руках. Помню автограф Марины Ивановны, надпись, обращенную к сестре, и авторскую правку черными чернилами “поверх” книжного текста. Правки было немного, но она была.

“Зиновики” — рассказ почти бытовской тональности, он характерен времени, когда создавался, — 1968-му году. Время это было если не легкое, то облегченное, но потерянное, растворенное в ожидании... В “Зиновиках” тоже есть доля чудесного. Убегая от общения с Зиновием, человеком, общаться с которым было откровенно нудно, героиня наткнулась в метро на потерявшегося мальчика с таким же именем и на его маленькую сестру. И на встречу, на которую боялась опоздать из-за одного “зиновика”, опоздала из-за другого. Так судьба учит одних — фатализму, других, более мудрых — иронии и одолению. На одном и том же примере.

Действие новеллы “Валовая, №7” происходит в 1928 году. Отправившись по ответственному делу — отвезти рукопись, Анастасия Ивановна, зачитавшись “Аэлитой” Толстого, так и вернулась домой, совершенно забыв о цели поездки, хотя она человек обязательный. Когда поняла, что в “помрачении” “Аэлитой” не передала рукописи, бросилась вновь в дорогу и поручение выполнила. Удивительно, что при этом Анастасия Ивановна не ставит высоко художественных качеств “Аэлиты”. Напротив, к творчеству А. Толстого она достаточно критична, говорит, что рассказчик он был много лучший, чем писатель, вспоминала, как давным-давно, в Коктебеле, они целой компанией стояли на берегу, над морем всходила какая-то жуткая луна и он, Алексей Толстой, говорил: — Вообразите, что мы последние люди на земле, и это конец света... И слушавшие замирали от его слов...

Очерк-воспоминание, близкий к новелле — “Сон наяву, а может быть,

явь во сне”, — из созданных недавно, в 1990 году. Речь в нем идет о некоем полковнике генерального штаба белой армии в Крыму. Полковник — поэт. Не названо имя, а звали его — как сказала Анастасия Ивановна, — Александр Цигальский. Поэтический псевдоним полковника был Ал. Цигал. Анастасия Ивановна рассказывала, что он слыл народным трибуном, говорил о Единой и Неделимой России, хорошо владел речью, зажигал. Потом его отозвали, он исчез, где-то “погас”. Остался сборник его стихов, изданных в Крыму. Там было одно стихотворение, Анастасии Ивановне посвященное, заключительной строкой которого было — “сгинет гнойный дракон”. Полковник довольно красив был, — продолжала Анастасия Ивановна, — он отразился в своем старшем сыне. Широколобый, большеглазый, очень выразительные черты лица. Жenu его, о которой тоже речь в очерке-воспоминании, звали Любовь Александровна, сыновей — старшего — Витя, младшего — Игорь.

Очерк, что не характерно для писательницы, написан “в третьем лице”, как если бы не с самим автором происходили действия, события, а с кем-то другим. Намеренная отстраненность только подчеркивает — сколь опасно было все тогда происходившее. Есть в очерке и повторяющийся поэтический рефрен — “Кто знает будущее? Будущего не знает никто!”

Ужас и явь этого очерка и ныне и во все времена — это легкость убийства одного человека другим. Одни обещали жизнь, другие принесли смерть. И женщина в широкополой шляпе разносит прощальные записки. Конечно, будущего не знает никто. Но, к сожалению, наше будущее может стать похожим на такое прошлое, ибо природа человеческая эгоистична, большинство хочет блага лишь для себя, а гибель от этого — всем. И лишь избранные не погибнут — праведники, схимники, далекие от мира, те, кто идут высокими путями.

В творчестве, как в чуде, есть сокрытая героика жертвенности. Сестры Цветаевы ради него жертвуют собой, “сжигают себя”. Их творчество потому и неопалимо временем, что в нем есть “огненное” чудо — героический взлет духовного начала, оно лучами Истинного Солнца освещает лица, события, подробности жизни. Солнце Истины дано узреть лишь тем, кто в сердце своем — в молитве или прозрении — поднялся через страдания и одоление к Вечности... Неизреченно высок тот путь...

Вторая часть книги посвящена музыке. Здесь собраны все небольшие произведения Анастасии Ивановны, посвященные певцам, музыкантам.

Большая часть их публиковалась в 1989-1991 годах в “Музыкальной жизни”.

Все очерки — это воспоминания под знаком музыкального ключа. Строки здесь подобны аккордам.

О предположительном родстве со знаменитой певицей Аделиной Патти, потрясавшей залы и салоны Европы в XIX столетии, очерк “Соловьиная кровь”. Он написан жемчужно-легко, блестяще, будто — взмахами веера. Впрочем, Анастасия Ивановна не настаивает на родстве Цветаевых с Патти. Просто есть основания предполагать...

В “Бедном певце”, трогательном рассказе о потомке композитора Глинки, описаны гипнотические качества того же друга А.И. Цветаевой — Зубакина.

“Детские французские песенки” — о восприятии музыки в детстве, о детских песенках семьи Цветаевых. И о силе воздействия ритма, мелодии на душу ребенка.

“Под «Клеветой» Россини” — трагическое повествование о встрече в лагере с певцом, солистом Большого театра Сладковским. Очерк этот, несколько видоизмененный, вошел в роман “Амор”.

В книгу вошли также “впечатления” Анастасии Ивановны от встреч с певицей Анной Герман, знаменитой пианисткой М.В. Юдиной, с крымским скрипачом Ягья Эфенди.

В завершение — два очерка о художниках, написанных А.И. Цветаевой в Эстонии, — о ныне здравствующем и творящем Олаве Маране и Ирине Бржеской, недавно нашедшей свой последний приют на кладбище при женском монастыре в Пюхтице.

Вообще, Эстония занимает особое место в жизни и творчестве писательницы. Сюда она приезжает 25 лет подряд. Этой земле и ее людям посвящено замечательное произведение “Моя Эстония”. Здесь написано много рассказов, очерков, воспоминаний.

Эстония для Анастасии Ивановны неразрывно связана с Пюхтицким монастырем, который она всегда посещает, чтобы окунуться в холодные воды священного источника.